

Памяти Михаила Безродного

Предисловие: Пушкин после 1831 года

И. В. Немировский

1831 год стал своего рода границей, разделившей жизнь Пушкина на две половины. В том году отношения поэта с читающей публикой окончательно приобрели характер конфликта, который разрешила только смерть поэта¹. Читатели, прежде всего из либерального лагеря и те, кто позже стали называться славянофилами, обвиняли Пушкина в сервилизме [Мазур 1999; Немировский 2018]. Этому обвинению способствовали публикация стихотворения «Стансы» (1826) и распространение в списках с личного разрешения императора Николая стихотворения «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю») (1827), о котором говорили, что Пушкин написал его в кабинете императора [Немировский 2018: 178–179]. Обвинения в сервилизме многократно усилились после публикации стихотворения «Вельможе» (1830). Ложная интерпретация в критике этого послания в контексте полемики о «литературной аристократии» привела к появлению ряда оскорбительных антипушкинских памфлетов [Вацуро 2000: 179–216].

При этом отношения Пушкина с властью именно в 1831 году приобрели видимость благополучия: он стал придворным историком — должность, которую до него занимал Карамзин, —

¹ «Только гибель Пушкина смогла разрушить стену отчуждения, вставшую в последние годы между ним и русским обществом, и заставила задуматься о причинах этого отчуждения и испытать вину за смерть своего поэта — чувство, навсегда вошедшее неотъемлемой составляющей в русское культурное сознание» [Ларионова 2008: 26].

и у поэта возникла иллюзия того, что он может стать для императора Николая тем, кем был Карамзин для императора Александра. Этой надежде способствовало то, что в конце 1830 года император наконец разрешил публикацию «Бориса Годунова». Формальным поводом к разрешению публикации послужило ходатайство дочери Карамзина, Е. Н. Мещерской. Именно она настояла на том, чтобы «комедия» была посвящена «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина» [Пушкин 2008: б. п., 144]. Но, конечно, не это стало решающим обстоятельством в пользу того, чтобы «комедия» о смуте была разрешена. Историческим фоном публикации «Бориса Годунова» послужили восстание в Польше и холерные бунты в самой России. Неактуальная в 1825 году (год завершения «Бориса») антипольская тема и связанная с ней тема народного бунта стали злободневными. В это время у власти возникла необходимость в замене действующей имперской и относительно космополитической идеологии собственно русской и общенациональной. Эту задачу ставил перед собой Карамзин, но в предыдущее царствование она не была решена. Император Александр предпочитал следовать тренду значительно более открытого государства². При внешнем выражении уважения к Карамзину император не следовал советам историка. В наибольшей степени расхождения между ними проявились в польском вопросе: Карамзин был против восстановления Польши и дарования ей конституции. Он выразил свою позицию в «Записке о древней и новой России» (1811) и в «Мнении русского гражданина» (1819). Оба документа имели конфиденциальный характер, но могли через Блудова, Дашкова или Уварова стать известны Пушкину. С Уваровым в годы, предшествующие созданию «Медного всадника», Пушкина связывали вполне приятельские отношения. Создатель формулы национального государства «Православие, самодержавие, народность» видел в Пушкине своего союзника и поддерживал его притязания занять в общественном сознании место, прежде занимавшееся Карамзиным. К этому стремились и близкие друзья Пушкина —

² См. [Живов 2008].

Жуковский и Смирнова-Россет. Летом 1831 года они организовали «случайную» встречу поэта с императором. Это произошло в Царском Селе, куда молодожены Пушкины переехали из Москвы, спасаясь от холеры. В царскосельском парке состоялся разговор Пушкина с Николаем, в ходе которого, по словам Россет,

Государь сказал Пушкину: «Мне бы хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме». — Пушкин ответил: «Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники». Государь рассмеялся и сказал: «Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволение работать в тайных архивах» [Смирнова-Россет 1989: 566]³.

Эта якобы случайная встреча определила судьбу Пушкина до конца его жизни. Он стал историографом, допущенным к тайным архивам империи, и тем самым унаследовал не только должность, которую до него занимал Карамзин, но и, как казалось Пушкину, общественный статус Карамзина. Важной составляющей этого статуса была возможность непосредственно обращаться к императору, минуя цензуру.

С середины 1820-х годов Карамзин оказывал на Пушкина сильнейшее влияние [Вацуро, Гиллельсон 1986: 85–96], а в 1831 году, в связи с польскими событиями, взгляды Карамзина приобрели для него особую актуальность, поскольку историческая правота Карамзина, в 1819 году предсказывавшего возможность новых волнений в Польше, представлялась теперь Пушкину почти пророческой.

Именно в контексте значительного интереса Пушкина к Карамзину стоит воспринимать написанные вскоре после его назначения историографом стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (оба 1831). Отношение друзей Пушкина к этим антипольским сочинениям было отрицательным. Так, Вяземский посчитал кощунственным сравнение битвы за

³ См. также письма Пушкина к П. В. Нащокину и П. А. Плетневу от 21 и 22 июля 1831 года [Пушкин 1937–1959, 14: 196–197].

взятие Варшавы с Бородинским сражением⁴. Не сочувствовал антипольским настроениям Пушкина и А. И. Тургенев. Отрицательно отнеслись к публикации стихотворений люди, в будущем составившие славянофильский круг⁵. Особо стоит сказать об отношении к этим стихам Чаадаева. Сразу после прочтения антипольских стихотворений он писал Пушкину: «Я только что прочел ваши два стихотворения. Друг мой, никогда еще вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт» [Пушкин 1937–1959, 14: 228, 439]. Отношения Пушкина с Чаадаевым в 1831 году составляют особый сюжет. На протяжении почти всего года Пушкин возит с собой тетрадь с записанными туда шестым и седьмым философическими письмами Чаадаева. Одна из тем седьмого письма — это осмысление отъединенности России от Европы. Чаадаев оценивает эту отъединенность не просто как проблему, а почти как трагедию⁶,

⁴ «Пушкин в стихах своих: *Клеветникам России* кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на *вопросы*, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? <...> В “*Бородинской годовщине*” опять те же мысли, или же безмыслие. Никогда народные витии не говорили и не думали, что 4 мил[лиона] могут пересилить 40 мил[лионов], а видели, что эта борьба обнаружила немощи *больного, измученного колосса*. <...> И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою*? Россия вопиет против этого беззакония» (Вяземский П. А. Записная книжка. Запись от 22 сентября 1831 года) [Вяземский 1992: 154–155].

⁵ См. [Фризман 1992].

⁶ «Эта связь [с Европой. — И. Н.], надо признаться, очень слабая, не соединяющая нас с Европой так крепко, как это воображают, и не заставляющая нас ощущать всей своей сущностью великое движение, которое там совершается, все же ставит нашу будущую судьбу в зависимость от судьбы европейского общества. Поэтому, чем более мы будем стараться с нею отождествиться, тем лучше нам будет. До сих пор мы жили обособленно; то, чему мы научились от других, осталось вне нас как простое украшение, не проникая в глубину наших душ; в наши дни силы *высшего* общества так возросли, его действие на остальную часть человеческого рода так расширилось, что вскоре мы будем увлечены всемирным вихрем, и телом и духом, это несомненно: нам никак не удастся долго еще пребыть в нашем одиночестве» [Чаадаев 1991: 433–434].

поэтому можно заключить, что, называя Пушкина «национальным поэтом», Чаадаев не делал Пушкину большого комплимента, а указывал на окончательное включение Пушкина в идеологическую парадигму воображаемого Уваровым национального государства. О том, что это могло означать, написал В. М. Живов, отметивший, что в эпоху торжества уваровской триады

...нацию воображают для того, чтобы по-новому легитимировать власть. В этом плане национальная легитимация — это результат кризиса просвещенческих идей. Власть легитимруется не просвещением и общим благом (просвещенностью монарха, стремящегося к общему благу), а национальной волей [Живов 2008: 114].

Объясняя оценку Чаадаевым антипольских стихотворений Пушкина, следует отметить, что к польскому восстанию Чаадаев относился отрицательно, считая, что религиозная и культурная автономия Польши возможна только в пределах Российской империи, которую Чаадаев считал воплощением союза славянских государств. Небольшая заметка Чаадаева «Несколько слов о польском вопросе» была написана в конце 1831 года и стала результатом знакомства автора с антипольскими стихотворениями Пушкина и Жуковского [Чаадаев 1991: 512–515].

Представляется, что на антипольскую позицию Чаадаева, так же как и на позицию по этому вопросу Пушкина, повлиял Карамзин. Чаадаев был хорошо знаком с Карамзиным и в доме последнего в Царском Селе познакомился с Пушкиным [Зобин 2018].

Антипольские стихотворения Пушкина вызвали восхищение Уварова. Они были написаны еще до того, как будущий министр просвещения обнародовал свою триаду, но в 1831 году Уваров уже уверенно шел к ее утверждению и видел в Пушкине своего союзника. Конечно, на такое отношение к Пушкину повлияло одобрение, с которым воспринял его антипольские стихи император. В стихотворении «Клеветникам России» Уваров с полным на то основанием усмотрел ответ Пушкина депутатам француз-

ского парламента, составлявшим поддерживающее Польшу парламентское меньшинство⁷. Будущий министр выразил Пушкину свое восхищение, перевел пушкинское стихотворение на французский язык и читал свой перевод в салонах, не всегда встречая одобрение⁸.

Остается открытым вопрос, утратил ли Пушкин вследствие публикации стихотворений «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» в глазах читающей публики статус национального поэта или, как написал ему об этом Чаадаев, обрел его, но очевидно, что эти стихотворения увеличили разрыв между Пушкиным и либерально ориентированной русской публикой [Фруменков 1958; Федосов 1957]. При этом отношение к Пушкину как «первому поэту нации» сохранилось. Именно так называет его А. И. Тургенев в письме брату, Н. И. Тургеневу, рассказывая о своем споре с Чаадаевым касательно антипольских стихотворений Пушкина. А. И. Тургенев называет Пушкина «первым поэтом нации», рассказывая о слухах, что Пушкину поручили писать историю Петра, и «это не одно сходство будет у него с Вольтером. Участь Петра Великого иметь историками — первых поэтов нации в их время»⁹. Итак, Пушкин «первый поэт нации», как Вольтер. Амбивалентный характер такого сравнения был очевиден современникам. Вольтер был известен своим сервилизмом не в меньшей степени, чем вольномыслием. Нельзя исключить и того, что, сравнивая Пушкина с Вольтером, Александр Тургенев подразумевал историю взаимоотношений Вольтера

⁷ См. [Фризман 1992].

⁸ См. письмо А. Я. Булгакова к брату, К. Я. Булгакову, 29 сентября 1831 года [Булгаков 1902: 93].

⁹ «На прошедшей неделе мы обедали а Англ[ийском] Клобе <...> а после мы и заспорили и крепко о достоинстве стихов Пушкина и других, здесь во всю неделю читались всеми, — “На взятие Варшавы” и “Послание клеветникам России”... Ал[ександр] Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом, но ни он, ни Жук[овский] мне об этом не пишут, а слышу здесь от других. Ему открыты архивы о Петре, и это не одно сходство будет у него с Вольтером. Участь Петра Великого иметь историками — первых поэтов нации в их время». Цит. по: [Истрин 1913: 20–22].

с прусским королем Фридрихом Великим, дружба с которым закончилась ссорой, разрывом и предсмертным примирением¹⁰. В сравнении Пушкина с Вольтером безусловно, на мой взгляд, содержался элемент предвидения, поскольку отношения Пушкина с императором Николаем очень во многом повторяли историю взаимоотношений Вольтера с королем Фридрихом.

Плоды своего сближения с властью Пушкин еще пожнет, но в 1831 году ему удастся сохранить статус «первого поэта» еще и потому, что современники воспринимают его антипольские стихотворения в контексте принятой им на себя задачи написать критическую историю Петра. Потребность в такой истории остро ощущалась в русском обществе, в особенности в кругах, которые позже стали называться славянофильскими. Отсюда амбивалентность отношения к Пушкину в этих кругах, где, с одной стороны, антипольские стихотворения воспринимались как очередное проявление сервилизма поэта, а с другой стороны, возникла надежда на то, что Пушкин напишет критическую историю Петра. Сам Пушкин никакого противоречия в том, что он выступает как автор антипольских стихотворений и при этом берется за написание критической истории Петра, скорее всего, не видел, а предполагал, что следование в тренде правительственной идеологии позволит ему изменить сам этот тренд в одном из его ключевых элементов — в отношении к Петру. В этом Пушкин видел свою задачу как историографа и преемника Карамзина, поскольку именно Карамзин полагал, что личность и идейное наследие Петра стали причиной, по которой русские утратили свою национальную идентичность. Пушкин надеялся, что ему позволят написать историю Петра в критическом ключе, в том числе потому, что ему открыли доступ к самым секретным архивам, включая дела о царевице Алексее и бумаги бывшей Тайной канцелярии. Император распорядился, чтобы исторические документы выдавались Пушкину «по назначению», то есть под контролем Д. Н. Блудова, ведавшего секретными архивными делами. Последний назначил Пушкину встречу (18 февраля

¹⁰ См. [Сайтанов 1986].

1832 года) для обсуждения порядка использования секретных документов. Весьма знаменательно, что на этой встрече кроме В. А. Поленова, управляющего главным архивом министерства, присутствовал К. С. Сербинович, историк и цензор, в недалеком прошлом — секретарь Н. М. Карамзина.

Масштабность поставленной им перед самим собой задачи — написать критическую историю Петра, с одной стороны, и по необходимости изучить громадный объем недоступных ранее архивных материалов, с другой, — побудила Пушкина приступить к ее решению сначала средствами поэтического творчества, а уже потом в рамках исторической науки (такой подход к осмыслению сложных исторических явлений был вообще характерен для Пушкина). Так появляется «петербургская повесть» «Медный всадник» (1833). Здесь во «Вступлении» Петр изображен как великий, не называемый по имени создатель мира из небытия, тогда как Петр основной части — «горделивый истукан», «медный идол», «тот, чьей волей роковой / Под морем город основался», то есть объект ложного поклонения. Соответственно, стихия «Вступления» — это «побежденная стихия», а в основном тексте — «Божья». Апологетический пафос «Вступления» дезавуируется в основной части тем, что Петр, основавший город «назло надменному соседу», оказывается не демиургом, а «медным идолом»¹¹.

В. Э. Вацуро заметил, что слова, вложенные Пушкиным в уста Александра I: «с божией стихией Царям не совладать», — повторяют слова императора Н. М. Карамзину из письма от 10 ноября 1824 года и являются косвенной цитатой из карамзинской «Записки о древней и новой России»: «Мой долг быть на месте: всякое удаление причту себе в вину. <...> Воля божия: нам остается преклонить главу пред нею» [Вацуро 1969: 166]. Карамзин осуждает Петра как вождя нации, презревшего ее идентичность и, следовательно, ответственного за ее цивилизационный раскол. Квинтэссенцией ошибок Петра Карамзин считает основание Петербурга:

¹¹ См. [Немировский 2014].

Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток. <...> Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупях [Карамзин 1991: 37].

В настоящее время можно считать доказанным, что непосредственным импульсом к написанию «Медного всадника» стало знакомство Пушкина с отрывками из поэмы Адама Мицкевича «Дядя»¹². Именно для Мицкевича было характерно осмысление петербургского наводнения в библейском ключе, как Потопа, а Петра — как тирана, построившего «себе столицу, но не город людям» [Мицкевич 1968: 409]. Внимательное чтение обоих произведений указывает на то, что Пушкин взял у Мицкевича очень многое, и это многое, в отличие от прямой отсылки к Мицкевичу в примечаниях, не имело характера полемики. Впрочем, возможно, что манифестация полемики с Мицкевичем была нужна Пушкину потому, что именно в его, Пушкина, уста Мицкевич вложил гневную филиппику, обличавшую Петра, причем «вольности певец, / Будивший Север пламенным глаголом», у него утверждал, «что с Запада весна придет к России» [Мицкевич 1968: 414, 416].

Ни в одном другом произведении профетическая позиция Пушкина не проявилась с такой полнотой, как в «Медном всаднике», поскольку никогда ранее поэт не ставил перед собой задачу такого масштабного воздействия на императора. Речь шла ни много ни мало об изменении официального взгляда на Петра. Уверенность поэта в том, что монарх положительно воспримет «Медного всадника», основывалась, как нам представляется, на его вере, что переоценка личности Петра стала важной задачей новой государственной идеологии, ориентированной на создание национального государства и воплощенной в уваровской формуле. Возможно, что это убеждение имело основание. В годы,

¹² См. [Измайлов 1978: 182; Ивинский 2003: 261 и след.].

предшествующие написанию «Медного всадника», Уваров старался привлечь Пушкина к тому, что сейчас называется «государственным строительством» [Вацуро, Гиллельсон 1986: 135–139]. И конечно, Пушкину, который понимал, что первым читателем и цензором поэмы будет император, казалось, что новое отношение к Петру должно понравиться Николаю, казалось, что между ним и императором существовали доверительные отношения.

Пушкин ошибся, как всегда переоценив степень доверительности своих отношений с Николаем. Император поэму не пропустил, причем его неблагосклонное внимание привлекло именно то, что выражало переоценку Петра в контексте библейской образности. Царственному цензору не понравилось, что его «пращура» Пушкин называл «медным идиолом», «горделивым истуканом» и «кумиром». Разумеется, неприятие вызвала у него и сцена бунта Евгения. Можно сказать, что император оказался проницательным читателем пушкинской поэмы и увидел в ней то, чего не разглядели многие современники [Зенгер 1934]. Распознал он и стремление Пушкина занять по отношению к нему профетическую, в данном случае учительскую, позицию. Это вызвало его раздражение и привело к тому, что император разрушил хрупкий союз, сложившийся к тому времени между ним и поэтом. В конце 1833 года, сразу после прочтения «Медного всадника», император назначил Пушкина камер-юнкером. Смысл этого поступка состоял в том, чтобы сделать взаимоотношения с Пушкиным сугубо формальными и пресечь дальнейшие претензии поэта на профетизм. Характерно, что вскоре после этого Пушкин получил «право», которого до тех пор тщетно добивался, а именно — право обращаться со своими произведениями в обычную цензуру. Император сложил с себя полномочия цензора немедленно по прочтении «Медного всадника»: 10 декабря 1833 года рукопись поэмы с высочайшими замечаниями возвращается Бенкендорфу, а 11 декабря шеф жандармов, передавая рукопись Пушкину, сообщает поэту, что ему теперь можно публиковать свои сочинения после рассмотрения их общей цензурой [Пушкин 1937–1959, 15: 214].

Реакция Пушкина на «милость» царя хорошо известна: он был предельно оскорблен¹³. Чувство горечи было вызвано не стремлением Пушкина к более высоким чинам, а пониманием того, что, сделав его камер-юнкером, царь отказывал ему в праве на диалог. Пророк, то есть учитель и советчик, не может быть камер-юнкером. Кроме того, потерпела крах другая надежда Пушкина: играть при Николае ту роль, которую при Александре играл Карамзин. Камер-юнкерство делало параллель «Карамзин — Пушкин» невозможной, поскольку все помнили, как высоко император Александр оценил творческие заслуги Карамзина, присвоив ему чин действительного статского советника и наградив орденом Святой Анны I степени. Это стало центральным сюжетом официальной биографии Карамзина. Уже после смерти поэта, отвечая на просьбу Жуковского написать манифест на смерть Пушкина, подобный тому, что император написал на смерть Карамзина, император посчитал саму идею уподобления Пушкина Карамзину кощунственной¹⁴.

Власть инстинктивно не доверяла Пушкину, и поэт постоянно находился под тайным надзором, который стал для него явным в 1834 году, когда поэт узнал о перлюстрации своих писем

¹³ «Брат мой... впервые услышал о своем камер-юнкерстве на бале у графа Алексея Федоровича Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил, с пеной у рта, разгневанный поэт...» — записал Я. П. Полонский рассказ Л. С. Пушкина [Пушкин Л. 1998: 54].

¹⁴ «Жук[овский], говоря с государем, сказал ему à peu près [почти дословно (*фр.*): “так как В[аше] В[еличество] для написания указов о Карамзине избирали тогда меня орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться”. Гос[ударь] отвечал: “Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Кар[амзиным]. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Кар[амзиным], тот умирал как Ангел”. Он дал почувствовать Жук[овскому], — что и смерть, и жизнь П[ушкина] не могут быть для России тем, чем был для нее Кар[амзин]». А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 31 января 1837 года [Фомин 1908: 61]. Ср.: «Какой чудак Жуковский! Пристаёт ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?» [Вяземский 1888: 294 прим.].

жене [Пушкин 1937–1939, 12: 328–329]. Попытка порвать отношения с властью и уйти в отставку не удалась. Пушкин опутал себя финансовыми обязательствами, которые сделали разрыв с властью невозможным. Между тем Уварову, после того как император фактически запретил публикацию «Медного всадника», передалось подозрительное отношение к пушкинским сочинениям, и в качестве главы цензурного ведомства он способствовал запрещению некоторых произведений Пушкина и затруднению реализации его издательских проектов¹⁵. Поведение Уварова заставило Пушкина написать и обнародовать эпиграмму «На выздоровление Лукулла» (1835), которую тот вполне обоснованно принял на свой счет. В конфликте, который за этим последовал, император принял сторону своего министра. Этот конфликт предельно обнажил параллель «Пушкин — Вольтер», бросившуюся в глаза современникам еще в 1831 году. В конце жизни, в 1836 году, в статье «Вольтер», предназначенной для третьего номера журнала «Современник», Пушкин сам осмысляет себя и свою жизнь в реалиях жизни Вольтера. Статья имела характер рецензии на публикацию переписки Вольтера с президентом де Броссом. При этом совершенно немотивированно, то есть безо всякой связи с публикацией этой переписки, Пушкин включает в свою псевдорецензию рассказ о том, как Вольтер поссорился с королем Фридрихом и как поводом к этой ссоре послужил конфликт Вольтера с президентом Берлинской академии Момертуйи, в котором король принял сторону своего президента. Приведенные Пушкиным подробности ссоры Фридриха с Вольтером получили ярко выраженный автобиографический характер и содержали печальное заключение:

Зачем ему было променивать свою независимость на свои нравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?... <...> Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредством, но печалят благородные сердца, напоминая им о несо-

¹⁵ Тираж «Истории Пугачевского бунта» остался почти целиком нераспроданным, а журнал «Современник» невостребованным.

вершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы [Пушкин 1937–1959, 12: 80–81].

Творческие неудачи имели своим фоном драматические обстоятельства в личной жизни поэта, приведшие в конце концов к дуэли и смерти. Современники, знакомые с Пушкиным, были склонны считать его смерть своего рода самоубийством, вызванным тяжелыми жизненными обстоятельствами последних лет¹⁶. И конечно, Пушкин не мог не осознавать, что путь сближения с властью, закончившийся для него столь печально, начался в 1831 году.

* * *

Этот сборник был составлен по следам конференции «Пушкин после 1831 года», прошедшей в ноябре 2023 года виртуально. Отрадно сознавать, что, несмотря на трудные времена, Пушкин объединил нас всех, живущих по разные стороны Атлантического океана. Надеюсь, так будет и дальше. В преддверие еще более сложных времен пишу об этом с надеждой.

Источники

Булгаков 1902 — [Булгаков А. Я.]. Из писем А. Я. Булгакова к его брату. 1831 год // Русский архив. 1902. Кн. 1. С. 42–157.

Вяземский 1888 — [Вяземский П. А.] Письма князя П. А. Вяземского, из Петербурга в чужие края, к А. О. Смирновой // Русский архив. 1888. Кн. 2. С. 292–304.

Вяземский 1992 — Вяземский П. А. Записные книжки. М.: Русская книга, 1992.

¹⁶ «Хомяков справедливо полагает, что Пушкин был утомлен жизнью и что он воспользовался первым поводом для того, чтобы от нее отделаться, так как анонимный пасквиль не составляет оскорбления, делающего поединок неизбежным. Охлаждение русского общества к поэту, материальные стеснения, столкновения с министром и, наконец, огорчения, вызванные кокетством его жены, привели его к горестной катастрофе» (В. А. Муханов. Из дневника, 2 февраля 1837 года). Цит. по: [Саводник 1927: 56–57].

Карамзин 1991 — Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.

Мицкевич 1968 — Мицкевич А. Стихотворения. Поэмы / Пер. с польск. М.: Художественная литература, 1968.

Пушкин 1937–1959 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.

Пушкин 2008 — Пушкин А. С. Сочинения: Комментированное издание / Под общ. ред. Д. М. Бетеа. Вып. 2: Борис Годунов. М.: Новое издательство, 2008.

Пушкин Л. 1998 — [Пушкин Л. С.]. Рассказы Л. С. Пушкина в записи Я. Полонского // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 3-е изд., доп. СПб.: Академический проект, 1998. Т. 1. С. 54–55.

Смирнова-Россет 1989 — Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989.

Фомин 1908 — Новые материалы для биографии Пушкина (Из Тургеневского архива) / Сост. А. Фомин // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 6. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1908. С. 46–97.

Чаадаев 1991 — Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1991.

Библиография

Вацуро 1969 — Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). Т. 6. Л.: Наука, 1969. С. 150–170.

Вацуро 2000 — Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб.: Академический проект, 2000.

Вацуро, Гиллельсон 1986 — Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «Умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. 2-е изд. М.: Книга, 1986.

Живов 2008 — Живов В. М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91. С. 114–140.

Зенгер 1934 — Зенгер Т. Г. Николай I — редактор Пушкина // Литературное наследство. 1934. Вып. 16/18. С. 514–536.

Зобин 2018 — Зобин Г. С. «...Спор славян между собою»: Польские события 1831 г. глазами участников войны с Наполеоном // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы: матери-

лы XXI Международной научной конференции. Бородино, 2018. С. 248–255.

Измайлов 1978 — Измайлов Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А. С. Медный всадник / Изд. подгот. Н. В. Измайлов. (Лит. памятники). Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. С. 147–265.

Ивинский 2003 — Ивинский Д. П. Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Истрин 1913 — Истрин В. М. Из документов архива братьев Тургеневых // Журнал Министерства народного просвещения. 1913. Т. 44. С. 1–26.

Ларионова 2008 — Ларионова Е. О. Последние годы // Пушкин в прижизненной критике. 1934–1937 / Под общ. ред. Е. О. Ларионовой. СПб.: Государственный Пушкинский театральный центр, 2008. С. 7–26.

Мазур 1999 — Мазур Н. Н. Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения // Пушкинская конференция в Стэнфорде 1999: Материалы и исследования. М.: ОГИ, 2001. С. 54–105.

Немировский 2014 — Немировский И. В. Зачем был написан «Медный всадник» // Новое литературное обозрение. 2014. № 2 (126). С. 210–236.

Немировский 2018 — Немировский И. В. Опрометчивый оптимизм: Историко-биографический фон стихотворения «Стансы» // Немировский И. В. Пушкин — либертен и пророк: Опыт реконструкции публичной биографии. М.: НЛО, 2018. С. 165–196.

Саводник 1927 — Саводник В. Московские отголоски дуэли и смерти Пушкина // Московский Пушкинист. 1927. Вып. I. С. 47–67.

Сайтанов 1986 — Сайтанов В. А. Прощание с царем // Временник Пушкинской комиссии. 1986. Вып. 20. С. 36–47.

Федосов 1957 — Федосов И. А. Революционные кружки в России конца 20-х — начала 30-х годов XIX в. // Исторические записки. 1957. № 59. С. 211–254.

Фризман 1992 — Фризман Л. Г. Пушкин и польское восстание 1830–1831 годов: Несколько вступительных слов // Вопросы литературы. 1992. Вып. 3. С. 209–237.

Фруменков 1958 — Фруменков Г. Г. К вопросу об отношении передовых представителей русского общества к восстанию в Польше 1830–1831 гг. // Сборник трудов Архангельского государственного педагогического института им. М. В. Ломоносова. Вып. 2. Архангельск, 1958. С. 50–65.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru